

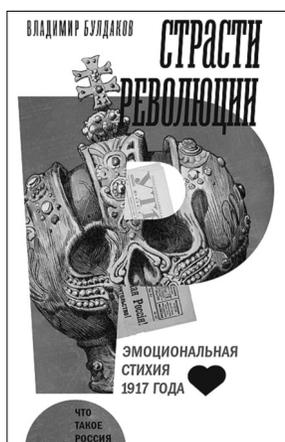
Борис Колоницкий, Владимир Булдаков

Политические страсти как объект изучения

DOI: 10.53953/08696365_2026_197_7_389

Булдаков В. Страсти революции: эмоциональная стихия 1917 года.

М.: Новое литературное обозрение, 2024. — 432 с. — (Что такое Россия).



Борис Колоницкий: Трудно определяемый комплекс разнородных и противоречивых событий, который мы чаще всего именуем Российской революцией, и сейчас вызывает нешуточные страсти, эмоциональные дискуссии возникают и в академической среде, исследователям трудно, порой невозможно оставаться бесстрастными. Можно с большой долей уверенности предположить, что и эта ваша книга будет обсуждаться страстно, она вряд ли удовлетворит и современных поклонников большевиков, и почитателей их разнообразных противников (наши современники часто продолжают отождествлять себя с участниками событий столетней давности). Подобно другим книгам этой серии издательства «НЛО», «Страсти революции» представляют собой популярный текст профессионального

исследователя, который был бы интересен и тому читателю, который не очень много знает о событиях 1917 г. Соответственно, вы стараетесь сделать текст увлекательным, включая в него интересные факты, яркие цитаты из источников, часть которых только что выявлена и вводится вами в научный оборот. С другой стороны, вы знакомите широкую аудиторию читателей с вашими оригинальными концепциями, немалая часть которых была уже изложена в статьях и монографиях, и их публикация провоцировала дискуссии в профессиональной среде. Промежуточные итоги многолетних исследований в этой книге выносятся и на суд читателей-непрофессионалов. Согласны ли вы с подобной оценкой книги?

Владимир Булдаков: Как говорится, со стороны виднее. Я в принципе не строю иллюзий относительно доходчивости своих идей и способности увлечь читателя. «Мы ленивы и нелюбопытны», — так, кажется, сказал поэт. Я никогда не стремился кому-то понравиться. Привлечь внимание — да. Увлечь — да. Результат — непонимание и со стороны поклонников большевиков, и со стороны авторов, пытающихся противопоставить им воображаемую «демократическую альтернативу» событиям 1917 г. Мне кажется, мои работы некогда похваливали, потом старались не замечать, а сейчас даже пытаются опровергать. Когда-то я вдохновлялся противостоянием большевистской историографии, теперь к этому добавилась нелюбовь к чисто политическим интерпретациям событий 1917 г. Вряд ли подобный «негативизм» может понравиться «строгим» приверженцам традиционной поли-

тической, наиболее привычной нам, истории. Я давно не строю иллюзий: все мы склоняемся к «простым» объяснениям на позитивистско-фактологической основе. Между тем такая простота, действительно, «хуже воровства». С ее помощью мы все дальше уходим от понимания «человеческой», культурно-антропологической сути событий. Моя книга — еще одна попытка объяснить, что основные, даже определяющие события революции — «красной смуты», как я пытался «метафоризировать» когда-то, — протекали в ином измерении, в душах людей, если угодно. А что касается стремления увлечь «непрофессионального» читателя, то да — можно попытаться изменить будущую историографическую ситуацию, воздействуя на молодое поколение.

Б.К.: Само название книги немало говорит о ее интеллектуальной генеалогии, здесь слово «эмоциональная» весьма важно. Читатель, наверное, не ошибется, если предположит, что одной из историографических рамок для вас является история эмоций. Вы одним из первых в отечественной историографии сделали эмоции и ощущения объектом исследований. В то время сам этот подход вызывал подозрения в академической среде, признаюсь, что и я разделял некоторые сомнения. Теперь же история эмоций — вполне уважаемое и авторитетное направление, представленное многими публикациями. Как бы вы определили место ваших исследований в растущем потоке текстов по истории эмоций?

В.Б.: Вопрос о первенстве по части идей и начинаний звучит несколько провокационно. Ничто не ново под луной! Идеи носятся в воздухе, в годы революций — особенно интенсивно. Да и мы сами в значительной степени подвержены «сарафанному радио», не говоря уже об информационных революциях. Политическая история России в том виде, в каком она сложилась, — анахронизм. Другое дело эмоциональная история российской политики, что практиковалось применительно к истории Французской революции. Стоит вспомнить и ваш подход к российской политике 1917 г. через психологический портрет Керенского. Что касается «эмоциологии», то, как я когда-то отмечал, сам термин появился в 1920-е гг. среди российских левокоммунистических литераторов, пытавшихся вдохнуть революционный дух в «застойную» атмосферу НЭПа. В последние десятилетия история эмоций действительно приобрела уважаемый статус в зарубежной историографии. Коснулась ли меня эта мода? Вероятно, да. Но не в смысле подражательства, скорее наоборот: вызывало раздражение, отталкивало «домысливание» эмоций 1917 г. по причине незнания или недопонимания их российских особенностей.

Б.К.: Вы пишете об очень сильных страстях, стремительно и одновременно овладевавших миллионами «маленьких людей». Именно этот фактор является, по вашему мнению, определяющим, соответственно, успех или неудача политических акторов вызваны тем, насколько они способны воспользоваться этими сильными эмоциями (не всегда успешные «пользователи» делают это осознанно). Действительно, без накладывающихся друг на друга волн энтузиазма и страха, без приступов паники и воодушевления невозможно представить революцию. Но не кажется ли вам, что наряду с этими сильными страстями немалую роль в политике играют и депрессия, апатия? Показательно, что слово «апатия», оцениваемое, как правило, негативно, довольно широко использовалось в 1917 г. Можем ли мы понять эффективность политической мобилизации каких-то сил, если будем изучать только использование энтузиазма и страха без учета «политической демобилизации», связанной с нарастанием аполитичности, которая нередко вызывается апатией? Не должно ли и отсутствие сильных страстей привлечь внимание историка?

В.Б.: Социальная апатия, масштабная общественная фрустрация — это скорее НЭП. В феврале-марте 1917 г. имела место вспышка революционной эйфории. Затем появились ноты разочарования, их сменила иррациональная озлобленность, которая легко могла направиться в «классовое» русло. Я имею в виду не только и не столько противостояние «пролетариата и буржуазии»: каждый социум и даже отдельный человек обретали своего особо ненавистного «буржуя». Росло тотальное озлобление. У кого-то, особенно в обывательских слоях, появились настроения типа «лучше ужасный конец, чем ужас без конца». В начале 1918 г. масса антибольшевистских газет подчеркивала свою «аполитичность», причем отнюдь не из опасений цензуры, — так подчеркивалась тупиковость всех политических мобилизаций 1917 г., в этом проявлялась разочарованность в политике, сменившая былую увлеченность ею. Когда-то в нескольких статьях я попытался проследить (и я был не первым) за поэтическими публикациями в большевистских и антибольшевистских газетах 1918–1920-х гг. Напомню, многие таблоиды уделяли этому жанру специальные разделы. Результат показателен: в самодеятельных стихах, помещенных в большевистских газетах, преобладало отчаянное («оптимистическое») озлобление, в антибольшевистских — пессимизм обреченности. В первом случае преобладала вера в светлое будущее, конечно, иллюзорная, во втором — ностальгия по «беспроblemному», как стало казаться, прошлому. Вряд ли я впал в некую телеологичную предрасположенность. Исход Гражданской войны был по-своему предопределен.

Б.К.: В названии книги есть и слово «стихия», и разговор о ней требует обсуждения тем стихии и стихийности. Споры о соотношении стихийности и сознательности, частью которых были и дискуссии о спонтанности и организованности в рабочем и революционном движении, были весьма важны и для участников событий, и для их исследователей. В разное время эта полемика имела и разное политическое значение. Но насколько правомерна жесткая оппозиция стихийности и организованности? Можем ли мы представить себе абсолютно стихийную акцию? Не предполагает ли культурная традиция (в том числе и традиция насилия, культура конфликта) возможность довольно быстрой самоорганизации? Не стоит ли говорить о культурных инструментах оформления и утилизации сильных эмоциональных состояний?

В.Б.: О соотношении стихийности и сознательности в 1917 г. много говорили сами большевики. Ленин отнюдь не строил иллюзий относительно степени сознательности пролетариата, не говоря уже о солдатах. Насчет стихийности и сознательности ломали копы советские историки — до тех пор, пока им не пояснили свыше, что гегемония пролетариата — это нечто, не подлежащее сомнению. Дискуссии советской историографии просочились и в западную литературу. Вы справедливо сказали о стихийной самоорганизации масс на неких традиционных основах, вероятно, имея в виду и «общинный», и «артельный» ее типы. Все это было и не могло не быть. Можно ли было утилизировать подобные процессы? Да, этим занимались и большевики, и их политические противники. Кто в этом более преуспел? По большому счету никто. Вектор движения стихийно определялся самими массами. «Руководить» ими можно было лишь в связи с остыванием эмоций вследствие физического истощения масс.

Б.К.: Дискуссии о «стихийности» имели и имеют особое значение при описании событий Февраля 1917 г. Десятилетиями эти дискуссии были сильно политизированы, ибо разные политические акторы и разные историки были заинтересованы в определенной версии событий. Например, в советское время некоторые историки КПСС везде и всюду желали видеть руководящую роль партии и, соответственно,

ставили в центр своего описания большевиков, их организационные и пропагандистские усилия. Такая «большевицентричная» концепция Февраля, деконтекстуализирующая ситуацию, могла сама по себе существенно исказить историю даже в тех случаях, если автор точно и корректно цитировал многочисленные источники. Подобный подход оставлял мало места для описания стихийности. Ныне же весьма много внимания уделяется роли политических элит в революции, большое значение придается элитным соглашениям и заговорам. Здесь стихийность также отступает на второй план. Сторонники этого подхода утверждают, что разговоры историков о стихийности лишь маскируют наше незнание тайных аспектов подготовки революции. В крайней форме подобная концентрация внимания на элитах находит проявление в конспирологических построениях, но концепцию стихийности критикуют и некоторые авторитетные специалисты. Мне кажется, что слухи о заговорах имели большее политическое значение, чем сами эти заговоры (по сути, и вы пишете об этом), но доказать это не просто. Каковы же ваши аргументы?

В.Б.: Спору нет, всякие ссылки на стихийность больше всего не нравятся различного рода конспирологам, не говоря уже о множасьихся сторонниках «управленческого» понимания революции. Налицо своеобразное вырождение позитивистской традиции: вера в разум обернулась верой в заговоры. Все это может подаваться под соусом противостояния политических и «неполитических» элит, контрэлит, на деле — квази- и прокси-элит. Российские элиты, увы, были слабы во всех отношениях. Уже в наше время я, к своему удовлетворению, услышал, что Юрий Петров, тогда директор Института российской истории РАН, публично заявил о стихийности событий 1917 г. В целом же динамику революции можно уловить только снизу, а их исторический смысл — сверху. Нечто подобное проделал Блок, увидевший того, за кем шествовал отряд красногвардейцев: «Вперед! — Иисус Христос!». Этой попытке прорыва в «метаисторию» через познание спонтанности революции многие современники и историки не поняли. А надо бы.

Б.К.: Уверен, еще большее возражение вызовет ваша трактовка Октября как стихийного движения. Я согласен с вами, когда вы саркастически критикуете книгу Курцио Малапарте «Техника государственного переворота», где Октябрь описан как хорошо рассчитанный и точно реализованный удар по инфраструктуре власти, удар, мгновенно парализующий противника. Но не вторичен ли тут Малапарте? Не так ли описывали ситуацию и сторонники, и противники большевиков? Ведь в созданных ими исторических повествованиях стройные колонны красногвардейцев, солдат и матросов маршировали по улицам Петрограда, точно, дисциплинированно и беспрекословно следуя приказам партийного центра? Для одних это было доказательством растущей сознательности масс, а для других — аргументом в пользу описания события как военного переворота, а не революции. Не складывается ли такое впечатление и под воздействием текстов Ленина, известных чуть ли не каждому советскому школьнику? Может ли Октябрь быть представлен столь же стихийным, как Февраль? Не обесценивается ли при такой расширительной трактовке сам взгляд на стихийность?

В.Б.: Смешно сказать, к Малапарте некогда привлек мое внимание кто-то из нынешних анархистов. Однако дело не в политической мутноватости этой личности. Дело в той эпохе, которая позволила поднять на щит подобные легкомысленные дискурсы. Эпоха революций — это время, когда все возможно, это эпоха самообмана, когда здравый смысл отходит на задний план. Коллективный разум умолкает, уступая место коллективному инстинкту. Это время вождей и вожаков, аван-

тюристов и проходимцев, самозванцев и «провидцев». Но со временем происходит самоаннигиляция всевозможной дури. Именно это незримо влияет, если не определяет, синергетику «смерти-возрождения» империи, в которой непременно победит традиция. Но это будет пирровой победой. Все возвратится на круги своя. Начиная с Античности, об этом знали все, кроме «мудрецов» эпохи Просвещения. Революционный самообман оборачивается длительной деформацией исторического воображения. В известной степени все мы жертвы этого процесса.

Б.К.: Мне кажется, одна из центральных и сквозных тем книги — тема языка, языка изучаемой эпохи и языка исследователей, эту эпоху изучающих. Основных политических акторов эпохи, вне зависимости от их политических взглядов, вы описываете как «догматиков», которые для описания сложнейшей реальности 1917 г. упрямо использовали слова, концепции, созданные в другом контексте, для понимания иных явлений. Между тем рационализирующий дискурс социалистов и либералов не подходил для описания все более иррациональной российской ситуации. Создается впечатление, что ваши симпатии не на стороне философов, политиков и юристов, работающих с терминами, вы отдаете предпочтение писателям и художникам, которые не ищут точных определений, но, опираясь на творческую интуицию, создают произведения, которые ярко отражают «эмоциональную стихию» 1917 г., передают ее читателям и зрителям. Согласны ли вы с такой оценкой вашего описания языка эпохи?

В.Б.: Да, конечно. Можно привести массу примеров, когда даже мыслители-позитивисты признают пророческие возможности художественного творчества, далекого от политики. Собственно, вся великая русская литература XIX в. фиксирует ситуацию исторического цугцванга, в который впали российские верхи.

Б.К.: Вопрос о языке эпохи связан с вопросом о языке исследователей, изучающих эту эпоху. При чтении книги у меня возникает ощущение, что вы ставите изрядной части коллег неутешительный диагноз, констатируя «двойное искажение»: и 100 лет спустя они продолжают использовать те слова, которые употребляли герои их повествования, в качестве терминов, своих аналитических инструментов описания, — в этом отношении не только Ленин, но и его противники из числа консерваторов и либералов, анархистов и умеренных социалистов продолжают быть живее всех живых. Язык аналитики 1917 г., который и в то время неадекватно описывал стихию революции, продолжает использоваться как научный инструментарий. В какой степени мы сейчас являемся заложниками дискурса событий столетней давности?

В.Б.: Как некогда сказал Георгий Иванов: «Друг друга отражают зеркала, взаимно искажая отраженья». Историк, как ни парадоксально, не имеет «естественного» языка для описания исторической реальности. Он всегда пользуется языком абстракций и генерализаций, которые в ходу у философов и социологов. Увы, историкам стоило бы чаще прибегать к языкам образов, которыми оперируют писатели и поэты. Да и народ воспринимал и воспринимает реальность без помощи ученых слов. Но справедливо и то, что народ можно снабдить «чужой» лексикой, позволяющей ему по-своему использовать обратную связь с властью. К примеру, вульгарные доносы постреволюционного времени содержат немало «классовых» характеристик. А в целом советских людей приучили ненавидеть «буржуев» и поверить в социализм. Но только вкладывали они в него не марксистское, а скорее анти-марксистское социальное содержание. И надолго ли? Увы, все мы также впадаем

в ущербную «научную» терминологию. Слова отлетают от смыслов. Может быть, именно по этой причине мне захотелось перейти на язык эмоций.

Б.К.: Чтение вашей книги заставляет постоянно вспоминать слова Пушкина о русском бунте — «бессмысленном и беспощадном». Особенности национальной революционности, глубинное влияние архаики вы подчеркиваете постоянно. Но была ли, например, Французская революция более рациональной и гуманной? В чем собственно русская специфика процессов брутализации? Нет ли тут чрезмерной национализирующей экзотизации объекта изучения?

В.Б.: Между прочим, я не согласен с универсализацией пушкинского определения русского бунта как бессмысленного. Русский бунт имеет свою логику: народ сигнализирует власти о крайности, нетерпимости своего положения. Другого языка власть не слышит или не желает слышать. Относительно степени сравнительной брутализации революций я затрудняюсь ответить. Вероятно, культура насилия не вполне универсальна. Определенно же могу сказать другое: российское культурное пространство всегда было перегружено в эмоциональном отношении. Объяснение этому простое: патернализм (и государственный, и барский) подавлял самостоятельность подданных, то есть способность к рациональному выбору. Отсюда особая форма ресентимента — терпеливость, точнее, отсутствие внятного языка недовольства, терпеливость, которая приводит к «беспощадному» бунту. Рискну предположить, что в свирепом русском насилии меньше черт «рационального» изуверства, в нем жестокость тоже «стихийна». Я писал о психопатологии революции, о массовых психозах, которые, кстати сказать, не имеют ничего общего со случаями индивидуального сумасшествия. Общественная психопатология — это, так сказать, психоз психически здоровых людей, оказавшихся в ненормальных условиях. Но и здесь «каждый сходит с ума по-своему» — сказываются культура, традиция.

Б.К.: У ваших работ немало оппонентов и критиков, но в то же время есть и много фанатов, я знаю молодых коллег, которые стали заниматься историей революции под влиянием ваших работ. Ваше влияние ощущается при чтении некоторых недавних статей и книг. Наверное, наиболее яркий пример — исследования Владислава Аксенова, который порой продолжает изучать некоторые намеченные вами сюжеты, привлекая новые источники и используя иную исследовательскую технику, среди таких сюжетов есть и история эмоций. Кого бы вы назвали из авторов, близких к вашему подходу? И в чем вы с этими авторами не согласны?

В.Б.: Серьезных оппонентов я не наблюдал, хотя «доносчиков» хватает. То же и с «фанатами»: порой встречаются «пародисты» по части «смутоведения», не способные отличить метафору от понятия, образ от концепта и т.д. Между прочим, эти авторы успешно рейтинги набирают. Это тоже «по-нашему». В наличие последователей хотелось бы верить, но я давно уже отвык обольщаться на сей счет. Что касается Аксенова, он действует совершенно самостоятельно, у него свои методики, порой противоположные моим. Мы сходны лишь в сюжетных предпочтениях, в интересе к эго-документам, в попытках уловить и объяснить динамику «тонких материй» людского бытия.

Б.К.: В книге есть весьма задиристое суждение, которое кажется мне намеренно провокационным: «Нынешние сочинения о революции невообразимо скучны». Наверняка эти слова заденут многих коллег. Верно ли я понимаю: речь идет о том, что многие историки не могут, даже не желают понять особенности эмоциональ-

ного состояния совершенно особого времени? Можно ли сказать, что исследователи не считают нужным развивать в себе способность, которую можно было бы назвать исторической эмпатией?

В.Б.: Можно говорить и о неспособности к эмпатии, и об игнорировании герменевтических практик. Но главное — скудость источниковой базы прикрывается наукообразной терминологией. Это болезнь современной «профессорской» историографии. Отсюда скучные суждения о «нескучной» революции. Причем значительная часть историков революции настолько поскучилась, что и «задирать» их скучно и бесполезно.

Б.К.: А какой вопрос вы сами задали бы себе о своей книге?

В.Б.: «Доволен ли?» Ответ: «Никогда не удавалось!»

Николай Нахшунов, Владислав Аксенов
**История эмоций в эпоху
неопределенности**

DOI: 10.53953/08696365_2026_197_7_395

**Аксенов В. Слухи, образы, эмоции. Массовые настроения
россиян в годы войны и революции (1914–1918).**

М.: Новое литературное обозрение, 2020. — 992 с.



Николай Нахшунов: Уже по названию вашей книги ясно, что вы рассматриваете чувственное измерение событий Первой мировой войны и революций 1917 г. Относите ли вы себя к школе истории эмоций, которая представлена работами Л. Февра, П. и К. Стерн, Б. Розенвейн, У. Редди и др. и которая в соответствии с исследовательской программой Я. Плампера, изложенной в его фундаментальной «Истории эмоций», стремится сочетать сильные стороны социально-конструктивистского и универсалистского подходов к пониманию феноменов чувственного? И встраивается ли ваша работа, выдержавшая уже три переиздания, в общую линию изучения эмоций в российской истории и культуре, которая складывается из ряда книг, вышедших в «Новом литературном обозрении»?

Владислав Аксенов: Я, конечно, надеюсь, что моя книга во что-то да встраивается, но если говорить серьезно, то даже у перечисленных вами авторов есть серьез-